



Иван Евсеенко

**Паломник**

## **Евсеенко И. И.**

**Паломник / И. И. Евсеенко —**

Герой повести И.Евсеенко, солдат великой войны, на исходе жизни совершает паломничество в Киево-Печерскую лавру. Подвигнуло на это его, человека не крепкого в вере, видение на Страстной неделе: седой старик в белых одеждах, явившийся то ли во сне, то ли въяве, и прямо указавший: "Надо тебе идти в Киев, в Печорскую лавру и хорошо там помолиться". Повести Ивана Евсеенко – это трепетное, чуткое ко всему живому повествование об израненных, исстрадавшихся, но чистых и стойких душой русских людях.

## Содержание

Иван Евсеенко	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Иван Евсеенко

## Паломник

### повесть (журнальный вариант)

*Памяти Глеба Горьшина*

В пятницу на Пасхальной неделе было Николаю Петровичу видение не видение, сон не сон, но глубокой ночью вся горница вдруг озарилась ярким, будто волшебным каким-то светом, и в этом озарении предстал на пороге весь в белых, ниспадающих до самой земли одеждах седой старик с посохом в руках. Перекрестившись на образа, он преклонил перед Николаем Петровичем голову и произнес:

– Надо тебе идти в Киев, в Печерскую лавру и хорошо там помолиться.

– Да куда же мне?! – попробовал было противиться Николай Петрович, и во сне и в видении понимая, что ему, уже почти восьмидесятилетнему человеку, до Киева, поди, и не добраться, тем более что теперь это страна далекая и чужая.

Но в следующее мгновение старик исчез, и горница опять погрузилась в предрассветную заревую темень.

Николай Петрович несколько минут в изумлении сидел на кровати, а потом позвал жену, спавшую в тепле на печке:

– Маша?!

– Чего тебе? – спросонья, но незлобиво ответила та, за долгие годы совместной жизни хорошо привыкшая к его ночным крикам и бдениям: то болят простреленные в войну грудь и нога, то неможется от бессонницы, то вдруг вспомняются Николаю Петровичу давно покинувшие дом дети, и он начнет, ночь не ночь, горевать и тревожиться за них.

– Ты старика сейчас не видела? – осторожно и боязко, весь еще во власти волшебного своего сна, спросил ее Николай Петрович.

– Какого еще старика?! – вздохнула Марья Николаевна, но опять не обидчиво, не сердито, а, наоборот, по-женски обеспокоено, что Николаю Петровичу и в эту ночь не спится, неможется. – Болит чего?

– Да нет, не болит, – недолго помолчав, ответил Николай Петрович и вдруг попросил Марью Николаевну: – Посиди со мной.

Он и в прежние ночи, когда действительно немоглось или одолевали тревоги за детей и внуков, так вот звал ее, чтобы посидеть рядом, погоревать вместе. И сколько помнит Николай Петрович, Марья Николаевна ни разу не отказалась, не посетовала на его стариковские при-чуды и вымогательства, всегда покорно садилась рядом. И ему сразу становилось легче...

Поднялась и подошла она к Николаю Петровичу и сейчас.

Свет они зажигать не стали, потому что в окошке уже начала теплиться утренняя заря, можно было различить и лежанку, и дверь, и образа в красном углу, обрамленные рушниками.

Николай Петрович долго томил Марью Николаевну молчанием, вглядывался в эти знакомые ему с детства образа. И чем больше вглядывался, тем больше они казались ему сегодня какими-то обновленными, хотя еще и по-страстному скорбными. В душе и в мыслях Николай Петрович помолился им и наконец начал рассказывать Марье Николаевне о только что увиденном и услышанном здесь, в горнице. Он вначале опасался, что Марья Николаевна остановит его каким-либо неосторожным замечанием, решится даже зажечь свет, чтобы достать ему из ящичка стола лекарства от сердца или от бессонницы, но она сидела тихо и терпеливо внимала его рассказу, как привыкла внимать в такие вот беспокойные, рябиновые, по ее словам, ночи

бесконечным жалобам и стенаниям Николая Петровича. И лишь под самый конец, когда он уже умолк, робко спросила:

– Может, приснилось?

– Нет, не приснилось, – краешком сердца все же обиделся на нее Николай Петрович. – Вот здесь он стоял, у двери, и так и сказал: «Иди в Киево-Печерскую лавру и хорошо там помолись».

– И что ж нам теперь делать? – винясь за свою оплошность, проговорила Марья Николаевна.

Николай Петрович именно этого и ожидал от нее, был уверен, что она расскажет его не отвергнет, не засомневается в нем, а примет неожиданное ночное происшествие и на себя. Так у них было всю жизнь – все пополам, все на двоих: и горести, и радости. Правда, сейчас нельзя было и понять, что это – радость или горесть.

– Пойду, наверное, – еще нетвердо, с сомнением вздохнул Николай Петрович. – Грех не пойти.

Но сам в душе он уже твердо знал, что пойдет непременно, обязательно даже пойдет, раз есть ему такой наказ и повеление. Николаю Петровичу нужен лишь совет, сочувствие и напутствие Марии Николаевны, потому что без них он никогда никуда не ходил и не мыслил, как без них можно пойти.

Но она вдруг начала не то чтобы отговаривать его или сомневаться, а как бы уже плакать и страдать при расставании:

– Ну куда с твоим здоровьем в такую дорогу. Где-нибудь прихватит, что будешь делать?

– Свет не без добрых людей, – нашелся что ответить и на это Николай Петрович.

Марья Николаевна с ним вроде бы согласилась: свет действительно не без добрых людей, если что приключится, так старика в беде не оставят, помогут, примеров тому в жизни много. Но минуту спустя придумала новую причину, чтобы удержать Николая Петровича возле дома, и теперь уже более основательную и важную, от которой просто так не отговоришься:

– А весна наступает, а пахота?! Кartoшку надо сажать, грядки обихаживать! На кого ты меня покидаешь?!

Тут уж правда была во всем на стороне Марии Николаевны: они по весне и вдвоем-то с пахотой, с садом-огородом с трудом управлялись, а теперь предстояло ей все одной. Но и отступать Николаю Петровичу было никак нельзя, некуда: наказ, повеление привидевшегося ему в ночи старика еще звучали в ушах.

– Я насчет трактора договорюсь, – твердо пообещал он Марье Николаевне. – А с остальным сама помаленьку сладишь. Да может, я и недолго там буду.

В ответ Марья Николаевна ничего не сказала, лишь горестно по-старушечьи вздохнула и ушла на кухню, как всегда и уходила, когда Николай Петрович, обласканный и привеченный ею, наконец успокаивался и ложился подремать еще час-другой до настоящей уже зари и рассвета.

Николай Петрович лег и нынче, надеясь, что сон тут же и прилетит к нему, одолеет, а поутру, при свете дня они с Марьей Николаевной обдумают все случившееся по-новому. Но сон никак не шел, да и боязно было Николаю Петровичу, что не успеет он смежить веки, как горница опять озарится волшебным светом и опять у двери встанет старик с посохом. И что же ответит ему Николай Петрович?! Мол, так и так, он с дорогою душою рад бы исполнить его наказ и повеление – пойти в Киев-град и помолиться там в Печерской лавре за всех грешных и праведных, – но вот старуха, женщина больная и робеющая, не отпускает, опасается и за него, и за себя.

Но так ответить Николай Петрович не мог, так в подобных случаях не отвечают, грех бы это был великий и неискупимый. Марья Николаевна это должна была понимать, да и понимает,

конечно, хотя по привычке и думает: вот настанет утро, свет Божьего дня, старики угомонятся, забудут все свои видения, первый раз, что ли, с ним подобные сны приключаются.

Николай Петрович не стал больше себя испытывать, томить напрасными, по-ночному путанными мыслями. Он поднялся с кровати, подошел к образам и несколько минут в молчании стоял перед ними, хотя в прежние дни в суете и утренней спешке не всегда это делал, будучи по жизни своей человеком не очень-то и богомольным. В душе, конечно, что-то теплилось, жило, он постоянно это чувствовал, но не придавал особого значения, есть – и ладно, лишний раз перед образами не задерживался, крестным знамением себя не осенял.

А сегодня вот задержался, осенил и только после этого в новом каком-то, непривычном для себя раздумий вышел во двор. Там уже нарождался день. На горизонте за лугом и негустым березняком начинало восходить солнце. Сперва озарилась на небе широкая огненная полоса, подержалась, борясь с темнотою, минут десять-пятнадцать, а потом обернулась вдруг краешком солнца, еще далекого, недосягаемого взором и тоже оранжево-огненного. Но вот оно прямо на глазах Николая Петровича стало расти, выкатываться из тьмы, приближаться и приближаться и наконец привычно зависло над березняком, по-апрельски светлое и ласковое.

Николай Петрович глядел на солнце, на луг, на блеснувшую за березняком речку, а в душе все еще жило беспокойство и тревога: как быть, на что решаться?

Он опять вспомнил ночное свое видение, поклон и голос старика, и в потемневшей его душе родилась и вопрошающе забилась новая, совсем уж неожиданная мысль, обида на старика. Ну зачем он выбрал именно его, Николая Петровича, зачем именно ему надо бросать все – Марью Николаевну, невспаханную землю, не засеянный еще огород – и идти Бог знает в какую даль, молиться там и поклоняться святым местам, не будучи по природе особо крепким в вере. Ведь сколько вокруг других людей, которые с радостью приняли бы на себя такой обет, пошли бы и помолились с чистой душой и чистыми помыслами, и пользы от их молитвы было бы во много раз больше.

Но вот же выбор пал на Николая Петровича. Может, за грехи его какие и прегрешения, которых у одного только Бога нет. А коль так, то уклоняться, противиться наказу ночного старика было еще большим, совсем уж неискупимым грехом. Надо потихоньку настраиваться на дорогу, готовить к расставанию Марью Николаевну, которой в одиночестве, в одни руки справиться с огородом будет нелегко. Но и то она должна понять, что не по своей же воле и старииковскому замыслу решился он идти в Киев, в Печерскую лавру, как ходили только в давнее время неприкаянные, истинно богомольные люди. Хотя, лучше бы, конечно, по своей, по велению страждущей души и сердца: ведь должен кто-то же и в нынешнее время брать на себя тяжкую эту ношу – молиться за всех сирых и убогих, а еще больше, наверное, за богатых и сытых да погрязших в грехах, им-то самим молиться недосуг. Но добровольно такая мысль в голову Николаю Петровичу не пришла, и это тоже грех немалый...

Постояв еще немного посреди двора, Николай Петрович захватил из кладовки бутылку водки, запасенную специально для такого, пахотного, случая Марьей Николаевной, и пошел к трактористу Мише Грудинкину договариваться насчет огорода. Миша, должно быть, после вчерашней гулянки-выпивки сильно страдал с похмелья, но виду не подавал, крепился, и когда Николай Петрович по пасхальному обычаю и правилу поздоровался с ним: «Христос воскресе!» – не посмел ответить как-либо иначе, по-будничному, а хотя с хрипотой и стоном в голосе, но все ж таки произнес требуемое:

– Воистину воскресе!

И это очень порадовало Николая Петровича. Коль уж такие беспутные мужики, как Миша, которым все напочем, было бы лишь выпить-закусить, стали откликаться на божеские слова по-божески, то, может, и правда в людях и в жизни что-то меняется к лучшему.

Миша и рюмку выпил не так, как пил обычно, второпях, заполошно, только бы поскорее утолить жажду, закусывая ломтем черствого хлеба, огурцом-помидором, а то и просто заню-

хивая рукавом промасленной телогрейки. Сегодня же он смирил свое нетерпение, достал и куличи, и жареное мясо, и пару крашенок, так что у них с Николаем Петровичем получилось как бы взаимное гостевание, христосование. При таком гостевании излагать свою просьбу Николаю Петровичу было легко и необременительно. А ведь до этого он крепко побаивался, что с Мишой еще и не сговорится, несмотря на то что пришел с бутылкою. Миша ведь человек своевольный, вспыльчивый, если что не по нем, так ничем его не ублажишь. Хотя и то надо сказать, трактор сейчас, почитай, у него один на всю деревню. Все бывшие колхозные, нынче перешедшие в какое-то акционерное общество, поразвались, как и чахлое это общество, на ходу, может, один-два, не дозвовешься их, не допросишься. А у Миши трактор свой, выкупленный еще в колхозе, он ему самоличный хозяин, от него живет и кормится, и особенно по весне, когда идет пахота.

— Я буду в отлучке, — начал, не торопясь, излагать свою просьбу Николай Петрович, — так ты Марье Николаевне огород вспаши, не промедли, а то она совсем изведется.

— А ты куда настроился, дед Коля? — светлея лицом после выпитой рюмки, поинтересовался Миша.

— В Киев надо проехать, — правдиво, но без особых подробностей ответил Николай Петрович.

— Ого! — изумился Миша. — И чего ты забыл в Киеве?!

— Надо! — еще тверже отвел неурочный разговор в сторону Николай Петрович, хотя, может, и стоило рассказать Мише все, как оно есть на самом деле. Глядишь, он и не тянул бы с ответом, а поскорее дал обещание вспахать Марье Николаевне огород к сроку.

Но Николай Петрович ничего не рассказал. В последнюю минуту он сумел сдержать себя, вдруг забоявшись, что Миша, выпив еще рюмку-другую, затронет его каким-нибудь неосторожным словом, посмеется над старицким намерением Николая Петровича ехать в Киев на богомолье и, наоборот, в просьбе откажет. Мол, я людям, которые безотрывно при доме-огороде сидят, и то не всем пашу — не успеваю, — а уж всяким паломникам, богомольцам, что в разгар страды по церквам разъезжают, на чужие руки только надеясь, и подавно не буду — некогда! На душе у Николая Петровича после таких слов потемнеет-погаснет, и неизвестно еще, чем эта темнота для него закончится. А с Миши очень даже может статься — скажет, пожилые годы Николая Петровича в расчет не возьмет, он по весне со своим трактором для деревенских стариков и старух поважнее любого иного начальства. Оттого и гоношится, оттого и куражится. Николай Петрович нрав его давно изучил, поэтому и пришел не с пустыми руками. Выпивка нынешняя вроде бы как задаток Мише, забыть ее, нарушить после свое обещание будет ему трудно — это уж совсем надо совесть потерять.

— Деньги Марья Николаевна отдаст, — налил Мише еще одну рюмку Николай Петрович.

— Да что деньги! — начал все-таки заводиться Миша. — Трактор не на ходу!

— А чего ж так? — заволновался, забеспокоился Николай Петрович. — Пахать пора. Народ на тебя надеется.

— Конечно, надеется, — горделиво усмехнулся Миша и вдруг упал головой на стол. — Но трактор не на ходу.

Знал эти Мишины падения Николай Петрович, не первый ведь год, не первую весну стучится к нему с бутылкою в руках. И частенько бывало, что, выпив рюмку-другую, Миша подобным образом падал головой на стол и начинал куражиться: то трактор сломался, то солярки нет, то очередь на пахоту большая, до самого июня все забито, так что забирай, дед, свою бутылку и иди к председателю, поглядим, как он пить-разговаривать с тобой будет. И никак ты Мишу с этой мысли, с этого куража и пьяного упрямства не собьешь. Похоже, и сегодня его на старых дрожжах развезло дальше некуда, и теперь он будет лежать на столе пластом до самого вечера. Но ведь и без окаянной этой бутылки прийти никак невозможно — Миша и вовсе с ним

разговаривать не стал бы, он к этим бутылкам приучен сызмальства, с шестнадцати лет, когда только выучился в районе на тракториста.

– Ну так как, Михаил Иванович? – теряя всякую надежду, еще раз затронул его Николай Петрович.

Миша с трудом оторвал от стола голову, сверкнул на него похмельно-пьяным, мало чего видящим взглядом и опять заталдычил:

– Я же сказал, соляра нету!

Николай Петрович ничего больше добиваться от него не стал, молча поднялся из-за стола и вышел на улицу, вконец расстроенный и раздосадованный: все-таки он надеялся, что Миша ему в просьбе не откажет. И особенно надеялся поначалу, когда Миша пасхальные его, праздничные слова не отверг, а, превозмогая тяжесть и похмелье в голове, ответил, как и полагается сегодня отвечать любому человеку. Но, видно, для Миши все это лишь пустой звук, обман, церковные слова в предчувствии скорого похмелья он произнес без всякого понимания их смысла, без веры.

Шагая по топкой тропинке в обратную сторону, к своему подворью, Николай Петрович все больше огорчался этому обману, по-стариковски вздыхал, сердился и на себя, и на Мишу. Но возле самой калитки вдруг оттаял душою и дал себе твердое обещание, что если Бог и вправду приведет его в Киев, в святую Печерскую лавру, то надо будет там непременно помолиться за неприкаянного этого Мишу и за всех таких мужиков, которых в заблуждении своем мается сейчас по России великое множество и которые сами за себя помолиться уже не в силах.

В дом Николай Петрович вошел вроде бы успокоенный, но Марья Николаевна быстро разгадала, что это совсем не так, что его что-то гнетет и выводит из себя.

– Ну как там? – настороженно спросила она.

– Да пьяный он! – сказал поначалу всю правду Николай Петрович, а потом, чтоб не огорчать Марью Николаевну, немного схитрил и добавил: – Но вспахать обещался, ты не переживай.

– Ладно, – еще быстрее разгадала и этот его обман Марья Николаевна, – я сама схожу.

… Целую неделю еще после неудачного своего вторжения к Мише Николай Петрович о поездке в разговорах с Марьей Николаевной не заикался и не то чтобы хитрил или опасался, что она опять начнет его отговаривать, а он возьмет да и согласится с ее отговорами, а просто ждал, когда почтарка принесет им пенсию, потому как на дорогу, на поезда-автобусы какие-никакие деньги ему были нужны.

Почтарка в этом месяце, словно зная, как ждет ее, выглядывает Николай Петрович, не задержалась ни на единый день (а ведь случалось, что задерживалась и на месяц, и на два, и на три), принесла пенсию точно в назначенный срок. Николай Петрович расписался в ведомости и за себя, и за Марью Николаевну, которая в последнее время что-то совсем ослабела на зрение, одарил почтарку пятью рублями за хлопоты, как это было повсеместно заведено в Малых Волошках, и когда та, в свою очередь поблагодарив их за посильное дарение, рас прощалась и ушла дальше по улице, разговора с Марьей Николаевной откладывать больше не стал, а тут же и попросил ее по своему обычаю:

– Посиди со мной рядом.

Марья Николаевна присела, сразу догадавшись, о чем у них пойдет речь. Николай Петрович долго томить ее не посмел, взял за руку и объявил непреклонное свое решение:

– Пора мне, Маша.

Марья Николаевна помолчала всего какую-то долю минуты, тихая и, понятно, скорбная перед расставанием, но уже давно готовая к нему.

– Ну, коль так, – согласно проговорила она, – так и давай собираться…

Первым делом они пересчитали все деньги: и пенсионные, и те, что были у Марии Николаевны малость в запасе еще с минувшего лета и осени. Частью эти деньги завелись у них

от проданной картошки, в прошлом году, слава Богу, хорошо уродившей, а частью от торговли корзинами и кошелками, которые Николай Петрович выучился хорошо плести еще в молодости, когда пастушил, переняв это умение от отца и деда. Николай Петрович хотел было поделить деньги точно поровну, половину взять с собой в дорогу, а половину оставить Марье Николаевне, чтоб она тут без него не бедовала, могла и с окаянным этим Мишней за пахоту расплатиться, и себе на хлеб что-либо приберечь. Но Марья Николаевна вдруг воспротивилась, отложила себе всего сто рублей, а остальные передала Николаю Петровичу, не став даже слушать его возражений:

– Я дома – мне и этого хватит!

Николай Петрович деньги взял, но на душе у него осела нестерпимая тяжесть, он вдруг почувствовал себя кругом виноватым перед Марьей Николаевной: едет в Бог знает какую даль, и только потому, что ему приснилось, пригрезилось что-то бессонной ночью, а она остается одна с невспаханным, незасеянным огородом, да еще и, считай, без денег. Но и по-другому тут, видно, поступить было нельзя. Дорога действительно есть дорога, любая копейка там может пригодиться и выручить Николая Петровича, если какая-нибудь заминка, затор. А лишнее тратить он не будет: не на прогулку едет, не на гуляние, а по делу божескому, наказному. Вот разве что купит Марье Николаевне дорогой киевский подарок: праздничный платок, шаль или теплые войлочные сапоги, чтоб ей было удобно и мягко ходить, или вязаную шерстяную жакетку, о которой она давно мечтает, но с деньгами у них никак не получается.

Надежда эта, тайное решение насчет подарков немного сняли с души Николая Петровича тяжесть и вину перед Марьей Николаевной, и он уже спокойнее стал советоваться с ней, что брать в дорогу.

– Мне много не надо, – попробовал Николай Петрович загодя предупредить Марью Николаевну, зная ее извечную заботу и беспокойство о нем.

Но Марья Николаевна особо к его просьбе не прислушалась, тут же достала кошелку и принялась собирать ее по своему усмотрению.

Николай Петрович поначалу противиться Марье Николаевне не решился, молча смотрел, как она снуют из кухни в горницу, перебирает в шифоньере белье, что-то ищет в ящике стола. Ивовая кошелка, которую сам же Николай Петрович и сплел для Марии Николаевны, когда она еще ходила-ездила в районный центр на базар, заполнялась всяkim скарбом прямо на глазах. Николаю Петровичу впору было Марью Николаевну остановить, но он намеренно ее не останавливал, а вдруг начал вспоминать, как Марья Николаевна с этой кошелкой, новенькой, скрипучей еще, с двумя пущенными по ободку красными стежками, собиралась первый раз в город. Николаю Петровичу было тяжко с ней расставаться даже на один день, он вздыхал, не находил себе места и едва не стал жаловаться на свои болезни-хвори, лишь бы Марья Николаевна поездку в город отложила. А каково же нынче ей собирать его в дорогу, да и не на один быстротечный воскресный день, а, может, на целую неделю, тоже, небось, томится и переживает душой, хотя виду и не показывает. Николай Петрович хотел было сказать Марье Николаевне что-нибудь утешительное, дать еще раз обещание в поездке долго не задерживаться, а помолившись, немедленно ехать домой, потому как ему одному тоже не больно весело. Но, поглядев, что кошелка уже полным-полна по самые дужки, он ничего этого не сказал, а наконец подал голос и запротивился, но не столько против скарба, который, может, и действительно весь необходим ему будет в дороге, а против любимой этой кошелки Марии Николаевны:

– Мне бы лучше мешочек какой, чтоб руки были свободны.

Марья Николаевна на минуту даже обиделась на него за такое небрежение к праздничной ее, выходной кошелке, с которой ходила только на базар, а по дому пользовалась старенькой, поношенной, и от обиды укорила Николая Петровича:

– С мешками только нищие ходят!

Но потом послушно пошла искать требуемый мешок, согласившись с Николаем Петровичем, что в поездке ему так действительно будет удобней, руки не связаны. По дороге она, правда, посожалела, что года три тому назад они зря отказались от вещмешка, который оставлял в доме сын, Володька. Тогда этот мешок им был без надобности: здоровенный, для их стариковской силы уже неподъемный, с множеством всяких карманов, клапанов и шнурков, да к тому же еще и слишком броского ярко-синего цвета. А нынче он и пригодился бы... Но и тот мешок, что принесла Марья Николаевна, был, по понятиям Николая Петровича, ничуть не хуже: без карманов, конечно, и шнурков, из обыкновенной густой мешковины, но зато как раз по росту и силе Николая Петровича. Его лишь надо было маленько оборудовать, приспособить под рюкзак. Но дело это нехитрое, хорошо знакомое Николаю Петровичу еще с пастушьих, а после с военных времен. Он сходил во двор, отыскал там два камушки-голыша, аккуратно заложил их в уголки мешка и повязал двумя лямками, на которые Марья Николаевна не пожалела поясов от своих стареньких, но вполне еще носких халатов. Потом они стали перекладывать из кошелки в мешок скарб, и тут Николай Петрович самолично пересортировал его, оставив лишь самое необходимое: пару белья, две запасные верхние рубашки да зингеровскую опасную бритву, единственный свой военный трофей, с помазком и кусочком мыла. Марья Николаевна к его пересортице отнеслась ревниво, но он заупрямился и опять едва не обидел ее:

– Не на год еду!

Марья Николаевна это упрямство, которому Николай Петрович иной раз и сам был не рад, хорошо знала, пообыклась к нему. Уж если Николай Петрович чего захочет, во что уверует, так никакими словами его не пересилишь – надо уступать, иначе дело до скандала может дойти, до размолвки. Марья Николаевна и уступала. Вернее, принимала вид, что уступает, а потом все совершала по-своему, и выходило, что она права, а Николай Петрович не прав. Малость поостыв, он всегда с ней соглашался, а случалось, так и просил прощения.

Марья Николаевна и сейчас пошла на хитрость: все отложенные Николаем Петровичем вещи спрятала назад в шифоньер, но тут же принесла пластмассовую коробочку, в которой хранила швейные свои сокровища.

– Нитку-то хоть с иголкой возьмешь? – с укором спросила она Николая Петровича.

– Нитку-иголку возьму, – пошел на уступку Николай Петрович, сразу согласившись, что тут уж Марья Николаевна не ошиблась: нитка-иголка ему в поездке необходима, вдруг оторвется пуговица или, не дай Бог, проходит где рубаха, так не надо будет ни у кого одолживаться – все под рукой.

Но и здесь он не во всем согласился с Марьей Николаевной, прятать в мешок катушку не стал, а по-солдатски заколол под козырек фуражки выбранную из коробки средних размеров иголку и ловко, крест-накрест, обмотал ее двумя недлинными нитками – черной и белой. Получилось и экономно, и надежно. Марья Николаевна на это его самовольство лишь потаенно покачала головой.

Потом они, уже в полном миру и согласии, долго обсуждали: брать ему в дорогу телогрейку или не брать и какие опять-таки обувать сапоги – офицерские, хромовые, даренные Володькой, или обиходные, кирзовые. Сошлись на том, что фуфайку брать непременно надо: дни (и особенно ночи) стоят еще прохладные, можно в легком пиджачке и застудиться; а сапоги решено было обувать офицерские, праздничные, потому как большего праздника, чем эта поездка в Киево-Печерскую лавру, у Николая Петровича в жизни, может, уже и не будет. А что они не разношенные, так не беда, в дороге и разносятся, надо только хорошо их намазать гуталином. Да и опробованные уже сапоги на Пасху – и нигде вроде бы не жали, не томили ногу.

В согласии собрали Николай Петрович и Марья Николаевна и походную еду. Марья Николаевна достала из кладовки кусочек хорошо просолившегося за зиму сала, которого Николай Петрович был большой любитель, потом отварила десяток яиц, положила в узелок и хлеба,

и соли, и луку. Николай Петрович остался этим узелком очень доволен: все привычное, сытное и в весе необременительное.

Посомневались они с Марьей Николаевной Лишь в том, писать ли, сообщать ли о поездке Николая Петровича детям, Володьке и Нине.

Марья Николаевна настаивала, чтоб обязательно написать, пусть дети знают, что отец в поездке, да еще в такой необыкновенной – отправился по случившемуся ему видению в святую Киево-Печерскую лавру помолиться за всех страждущих и заблудших. Дети у них разумные, самостоятельные, отца за такую поездку не осудят, а, наоборот, отнесутся к ней со всем пониманием, одобрят в ответных письмах, и в первую очередь Нина, которая с недавнего времени, хотя и работает врачом по нервным болезням, пристрастилась заглядывать в церковь.

Николай же Петрович советовал с письмами не торопиться, детей зазря не будоражить, не волновать, пусть пока побудут в неведении, а то Нина, чего доброго, все бросит и примчится сюда, в деревню, с обидой и укором Николаю Петровичу, мол, богомолье, паломничество дело хорошее, но нельзя же так вот среди весны оставлять мать одну с огородом и садом. Володька, тот, понятно, не приедет: во-первых, с Дальнего Востока ему далеко, а во-вторых, он человек военный, офицер, и в больших уже чинах – полковник, его просто так, по мелочам со службы не отпустят. Письма детям можно будет написать, когда Николай Петрович вернется назад из Киева, а Марья Николаевна, даст Бог, управится с огородом. Тогда письма и послеподойней получатся, и поинтересней, Николай Петрович перескажет Володьке и Нине все увиденное-услышанное в Киеве подробно, сообщит о домашних посевных новостях, а нынче так и писать нечего, живы они с Марьей Николаевной, здоровы – вот и все известия.

Марья Николаевна в конце концов приняла сторону Николая Петровича, и не потому, что он опять заупрямился, а потому, что рассудила все по справедливости: дети Николая Петровича все равно уже не остановят, не отговорят от поездки, а лишь будут зря волноваться и переживать.

Вообще-то с детьми Николаю Петровичу и Марье Николаевне повезло. Росли Володька и Нина не в особо больших достатах, не в баловстве, иной раз в школу босиком бегали – обувки недоставало, в колхозе отцу с матерью ссыпалась помогали: Володька и пастушил, и на конной косилке работал, и силос-зеленку на волах возил; Нинка, та, понятно, больше с Марьей Николаевной в полеводческом звене, картошку полола, свеклу прорывала, зерно на току веяла. И ничего, превозмогли они эти трудности, оба выучились: Володька вначале военное училище закончил, а потом и академию и теперь вишь какой важный – полковник, Владимир Николаевич. Нина, та попроще, поскромней, но в медицинский институт с первого раза поступила, тоже не шутка. После окончания попала по распределению в город Тосну под Ленинградом, да там и поныне живет, замуж вышла, внука и внучку Николаю Петровичу и Марье Николаевне родила. У Володьки детей тоже двое, правда, оба парня. Одно плохо, редко Володька с Ниной домой приезжают, все как-то у них не получается. А если и приезжают, так чаще всего порознь: Нина в летнюю пору, а Володька когда осенью, а когда и зимой. Расстояния дальние, да и с деньгами нынче у них плохо, даже у Володьки. Дети их толком и не знают друг друга, не роднятся, это, конечно, нехорошо, но что поделаешь, жизнь теперь такая – все в отчуждении.

О детях и внуках Николай Петрович и Марья Николаевна проговорили до самого вечера, до сумерек, а потом легли пораньше спать, потому как завтра день им предстоял еще более трудный и суэтный – проводы и расставание…

Марья Николаевна, пригревшись на печке, уснула быстро, Николай же Петрович в находившей горнице долго ворочался на кровати, скрипел пружинами. И вовсе не оттого, что, к примеру, болела у него простреленная грудь или саднила к перемене погоды нога, а оттого, что одолевали его предчувствия о новом видении и встрече с седобородым стариком. Вначале Николай Петрович почему-то думал, что старик, явившийся к нему во сне или в видении, непременно скажет, мол, так и так, Николай Петрович, добрые твои намерения мы ценим и

одобряем, но пока с поездкою повремени, тут нашлись люди поможе тебя, поздоровей да и в церковных молениях и вере покрепче. Минутами Николаю Петровичу очень даже желалось именно такого исхода: поездка все-таки немало пугала его, приводила в смятение и своей дальностью, и неизведанностью. Но потом он, глядя, как мерцают при лунном уже свечении в красном углу образа, преодолевал все страхи и смятения, и теперь ему представлялось, что стариk, явившись в озарении, подсядет на кровать, как, случалось, подсаживалась ночью Марья Николаевна, и начнет утешать его перед дорогой, давать напутствия и советы, как вести себя в Киево-Печерской лавре, какие слова и молитвы говорить в святых этих местах. У Николая Петровича потеплело на душе, и он гнал от себя первоначальные бессонные мысли о том, что поездку можно отложить, а то и вовсе отказаться от нее. Эти мысли пугали его гораздо сильнее, чем неизведенная дальняя дорога. Получалось, что стариk не доверяет ему, сомневается, правильно ли он выбрал для столь трудного и важного дела человека. Это Николаю Петровичу было очень обидно. Он посильнее смежал веки, торопил сон, чтоб как можно скорее встретиться со стариком и все доподлинно выяснить. Сон действительно вскоре налетел на него, крепкий и здоровый, каким Николай Петрович давно уже не спал, но стариk в нем так и не появился, горница волшебным светом так и не озарилась.

Пробудившись, Николай Петрович этому, конечно, огорчился, тяжко вздохнул, а потом, встав перед образами, начал негромко молиться, укрепляя себя в мыслях, что, значит, так оно и должно быть, чтоб он сам, без посторонней помощи и подсказки, принимал необходимое решение. Тут даже Марья Николаевна ему не советчица.

И утренняя эта почти бессловесная молитва придала Николаю Петровичу стойкости и уверенности в том, что все он делает правильно, едет в предназначенную ему дорогу без всяких колебаний, которые происходят, наверное, из-за пожилого его возраста и болезней. Оточных путаных мыслей Николая Петровича остался лишь мутный нетвердый осадок, но и он постепенно истаял, когда Марья Николаевна тоже встала рядом перед образами и зашептала молитву.

Так, с молитвой, они и начали прощаться. Николай Петрович оделся во все праздничное, заколол в нагрудном кармане пиджака деньги и документы: паспорт, удостоверение участника и инвалида войны, пенсионное удостоверение. Потом Марья Николаевна помогла ему приторочить за плечи мешок, который лег между лопаток по-походному надежно и удобно. Теперь оставалось лишь на минуту присесть перед расставанием да помолчать, как того требовал давний обычай, чтоб в дороге у Николая Петровича все было легко и благополучно.

Они и присели. Николай Петрович, сложив на коленях руки, настроился на недолгое это, суеверное молчание, но Марья Николаевна вдруг обычай нарушила.

– Погодь немного, – со вздохом проговорила она и протянула Николаю Петровичу собственноручно исписанный большими буквами тетрадный листочек. – Прочитай перед дорогой.

Николай Петрович послушно поднялся, надел очки и начал читать «Молитву ко Пресвятой Богородице от человека, в путь шествоватьющего».

Произнеся последнее слово, Николай Петрович повернулся к Марье Николаевне за советом, что же ему надлежит делать дальше, и она тут же совет этот дала, и не столько голосом, сколько одним лишь взглядом сухих, не наполненных еще прощальными слезами глаз:

– Теперь помолись.

И Николай Петрович опять послушно выполнил ее приказание. Не выпуская из рук листочка, он крепко сложил щепоткой пальцы и трижды осенил себя крестным знамением, за каждым разом чувствуя, как молитвенные высокие слова все глубже и глубже проникают ему в душу. При этих охранительных словах никакая дорога, никакие испытания Николаю Петровичу не страшны.

Помолилась перед образами и Марья Николаевна, но какой-то иной, только ей ведомой молитвой. Проникать в тайну этой молитвы Николай Петрович не посмел, хотя и догадался,

о чем она: Марья Николаевна просит святую Богородицу и ее укрепить в долготерпении, чтоб Николай Петрович, вернувшись из дальних странствий, нашел дом в благополучии, а жену – в добром здравии.

Намоленный листочек они присовокупили к документам Николая Петровича, чтоб он всегда был у него под рукой, заново закололи булавкой и лишь после этого, исполняя обычай, присели на лавке. Когда же положенная минута истекла, Николай Петрович поднялся и, захватив в сенях посошок, двинулся к калитке. Марья Николаевна пошла за ним следом, стараясь ничем не выдать свою печаль и горесть перед расставанием. Николай Петрович тоже крепился, шел, как ему казалось, ровным и твердым шагом. Но возле калитки его вдруг качнуло, повело в сторону, и он невольно остановился, опираясь на посошок. От Марьи Николаевны это не укрылось, она поддержала Николая Петровича рукой, как всегда поддерживала ночью во время приступов удушья, когда ему не хватало воздуха и надо было перебраться с кровати к распахнутому окошку. Марья Николаевна, случалось, укоряла Николая Петровича за эти полуночные хождения, боясь, что возле окошка он простынет и тогда уж точно заболеет по-настоящему. Но сейчас она лишь вздохнула и, стараясь скрыть за этим вздохом свое немалое беспокойство о нем, посоветовала:

– Ты к конторе подойди, может, кто хоть до Красного Поля подвезет.

– Подойду, – тверже укрепился на ногах Николай Петрович и даже оторвал от земли посошок, показывая тем самым Марье Николаевне, что покачнулся он вовсе не от слабости, а оттого, что с непривычки оступился в хромовых сапогах на невидимом бугорке.

Теперь уже можно было прощаться окончательно. Но ни у кого из них не хватало духу, силы произнести прощальные слова первым, и, может быть, потому, что в своей жизни они разлучались очень редко, всего два-три раза, когда Николай Петрович ездил в город Тосну к Нине, приветить только что родившихся внуков, да однажды в город Липецк, где Володька находился на каких-то курсах переподготовки. К тому же Николай Петрович и Марья Николаевна были в те годы помоложе, и разлуки-расставания их тогда еще не страшили. Нынче же совсем иное дело...

Несколько минут оба они стояли в нерешительности, словно еще надеялись, что сегодня разлуки может и не случиться. Вот наконец Марья Николаевна, которая всегда была тверже в характере, опять вздохнула и, открывая калитку, произнесла необходимые слова, но они оказались вовсе не прощальными, а лишь напутственными:

– Ты ж за детей там помолись, за внуков.

– Помолюсь, – пообещал Николай Петрович, лишний раз дивясь, какая все же Марья Николаевна разумная и догадливая женщина, тоскливых, разлучающих слов не сказала, а нашла вон какие светлые и непечальные.

С таким напутствием-прощанием расставаться было легко и нестрожно, и они расстались совсем безропотно, как будто Николай Петрович уезжал всего-навсего в район, на базар или в парикмахерскую, и к вечеру обязательно должен был вернуться назад.

На тропинке, что бежала вдоль заборов к магазину и бывшей колхозной конторе, Николай Петрович часто оглядывался и всякий раз видел, что Марья Николаевна все еще стоит у калитки, пряча под фартуком руки, какая-то совсем одинокая и всеми покинутая. Он махал ей посошком, мол, уходи, не стой понапрасну на ветру, не томись, все у меня будет хорошо, не успеешь оглянуться – а я вот он, уже на пороге, с гостинцами и рассказами. Но душа у Николая Петровича все равно замирала от тоски. Он тоже чувствовал себя одиноким и покинутым и на повороте улицы, когда маленькая, сухонькая фигурка Марьи Николаевны мелькнула в последний раз, едва не повернул назад. Удержала его лишь вовремя подоспевшая мысль, что если Бог и вправду приведет его в Киево-Печерскую лавру, то первым делом Николай Петрович помолится за Марью Николаевну, за ее здоровье, за здравие, как пишется в церковных грамотках, за то, чтоб все у нее было хорошо и благополучно, пока он отсутствует, чтоб огород

вспахался-засеялся, чтоб не побило в цветении заморозками сад, чтоб была сыта-обиходжена вся домашняя живность. За детей же Николай Петрович помолится вдругорядь, не видя в этом ничего обидного: во-первых, они поможе, поздоровей, а во-вторых, мать всегда должна быть на первом месте.

От этого правильного и во всем справедливого решения Николай Петрович перестал чувствовать себя одиноким и всеми брошенным на произвол судьбы, как будто Марья Николаевна незримо шла рядом с ним. А вдвоем никакие дороги им не страшны.

Выполняя наказ Марии Николаевны, Николай Петрович решил действительно попытать счастья и зайти к бывшей колхозной конторе. Вдруг там случится какая оказия, и его кто-нибудь подвезет на машине хотя бы до Красного Поля. А оттуда можно уже будет и на автобусе.

Николай Петрович и не заметил, как в размыщлении и задумчивости дошел до конторы. Там было еще пустынно и тихо. У телефона, поджидая председателя и бухгалтеров, сидела только дежурная – пожилая и немного слабая умом женщина, Манька.

– Маня, – попытал ее Николай Петрович, – машины никакой не ожидается до Красного Поля или до города?

– Не знаю, дед Коля, – оживилась Манька, всегда большая охотница до разговоров. – Может, в обед будет, председатель вроде собирался ехать. А ты куда настроился? В баню, поди, на помывку?!

– В баню, в баню, – не стал втягиваться в долгие рассуждения с Манькой Николай Петрович, размышляя, как ему теперь лучше поступить: довериться этому сообщению насчет машины и ждать до обеда или потихоньку двигаться к Красному Полю в надежде, что кто-нибудь подберет его по дороге.

Поступил он половинно: и возле конторы не остался, и к Красному Полю сразу не пошел. Опираясь на посошок, Николай Петрович стал пробираться к магазину, который возвышался неподалеку от конторы под тремя березами и раскидистым тополем-осокорем. От магазина тоже вполне могла наладиться в город машина за какими-нибудь товарами, продуктовыми или промышленными. Так что поинтересоваться не мешало. Жаль, у Маньки не спросил – она все знает.

Манька никак не шла у Николая Петровича из головы, томила душу, хотя, казалось бы, что ему эта Манька, мало ли на свете больных и убогих. Но вот же томила, и, главное, с каким-то неведомым прежде Николаю Петровичу укором, словно это именно он был виновен в том, что Манька повреждена немного умом и часто не помнит себя. Николай Петрович попридержал шаг, стараясь унять не вовремя подкатившееся удушье, и вдруг подумал, что там, в Киево-Печерской лавре, ему обязательно надо помолиться и за Маньку, за всех убогих, божьих людей, которые нынче лишены человеческого участия и защиты. Кому же тогда еще за них и молиться, если не таким, как Николай Петрович, наказным, идущим на богомолье паломникам?

Возле магазина никаких машин видно не было, зато стоял чуть ли не впритык к двери Мишин трактор, а сам Миша, с такими же, как и сам, запойными мужиками, распивал под осокорем первую утреннюю бутылку. Это надо же, ни свет ни заря, а они уже пьют, подняли с постели продавщицу, которая Мише отказать не может, потому как у нее тоже огород и пахать его надо.

Трактор у Мишки, правда, был заглушён. А в советские времена не раз случалось, что он работал, таращел возле магазина и час, и другой, пока Мишка пьянствовал. Колхозной техники и солярки ему было не жалко, за десять лет не один трактор угrobil – и в речке их по пьяной лавочке топил, и о столбы-деревья разбивал, и просто так по небрежению доводил до ручки. А теперь, вишь, какой рачительный стал: пьянство пьянством, а про трактор помнит, известное дело – свое.

Подходить к Мишке и мужикам Николай Петрович не был намерен. Заведут сейчас пустые разговоры, болтовню, не отобъешься, то да се, время только зря потеряешь. Да и настрой

у Николая Петровича нынче другой, душа не тем полнится. Он притаился за дверью возле почтового, единственного на всю деревню ящика и стал зорко присматриваться, не появится ли где машина. Но Мишка все-таки его заметил и закричал пьяным охрипшим голосом, пугая в соседских домах кур и гусей:

– Эй, киевлянин, заходи, посошок нальем!

Куры и гуси откликнулись на этот крик заполошным кудахтаньем и гоготанием, а Николай Петрович не знал, что ему и делать. Не подойти нельзя: Мишка человек злопамятный, после будет пенять ему, мол, я звал по-людски на посошок, а ты побрезговал, – огород тебе пахать не буду. Но и подходить не было никакого желания. Все настроение в один миг испортят, растопчат пьяным своим матом-перематом, без которого слова путного сказать не могут. Что с мужиками случилось, ума не приложишь. Ладно, раньше все на советскую власть, на колхозы грешили, мол, такие они растакие, народу свободы-воли не дают, за палочки-трудодни заставляют работать – оттого народ этот и пьет с утра пораньше. Но теперь-то воли и свободы хоть отбавляй, ан нет, с шести часов по-прежнему полгосударства в пьянстве и похмелье. Тут что-то не так! Видно, какая-то опора, основание в русском человеке надломилось, вот он и сошел с надлежащего понимания жизни.

Николай Петрович, посомневавшись еще самую малость, решил все ж таки к Мишке и его друзьям-товарищам не подходить. Даst Бог, Марья Николаевна Мишку как-нибудь сама переборет, остынет его гонор, она на это дело великая мастерица. А Николаю Петровичу нынче надо блюсти себя, не омрачать душу, надо, чтобы она осталась чистой и нетронутой, иначе от предстоящих его молений не будет никакого проку.

Николай Петрович сделал вид, что Мишкиных зазывных криков не слышит и не признает. Он отвернулся от пьяной их компании, а потом и вовсе вознамерился было укрыться в магазине, чтоб наблюдать за дорогой уже оттуда, но вовремя сдержался. Мишка ведь если загорелся на выпивку, то одной бутылкой не ограничится, прибежит сейчас за добавкой, начнет клянчить продавщицу, чтоб дала ему в долг, под будущую пахоту, и тогда Николаю Петровичу вовсе будет трудно от него отвязаться. Мишка, ничуть не стесняясь продавщицы, затеет скандал, станет корить-позорить Николая Петровича, а там дойдет дело и до материны. Поэтому он, подхватив посошок, сколько было проворно, перешел на другую сторону улицы и двинулся дальше, к последним окольчным хатам и выгону. Мишка маневр этот Николая Петровича угядел, что-то крикнул вслед, пьяное и обидное, но Николай Петрович его не слушал, не принимал обиду близко к сердцу и вскоре действительно оказался за селом, на песчаной прямоезжей дороге к Красному Полю...

День между тем уже разгорался во всю свою весеннюю, обновляющую силу. Солнце поднялось над дорогой первозданно чистое и ласковое, в охотку согревало озябшую за ночь землю. И она откликалась на его тепло буйным зеленым пробуждением. Вдоль обочины, по которой шагал Николай Петрович, стали часто попадаться густые островки молодой крапивы и пырея; на придорожных ольховых кустах то там, то здесь просвечивались на солнце клейкие рубчатые листочки; в низинках и оврагах остро тревожили глаз голубые нежно-ранние колокольчики. Казалось, дохни сейчас чуть посильнее – и они тотчас же откликнутся на это дыхание праздничным колокольным перезвоном. На электрических проводах Николай Петрович несколько раз заметил восседавших рядом ласточек и совсем возрадовался. Ласточки – это, значит, уже настоящая весна и тепло.

Идти-шагать по дороге под щебетание и перелеты ласточек было легко и необременительно. Мешок, умело собранный и притороченный Марьей Николаевной, лежал точно между лопаток, не причиняя Николаю Петровичу никакого неудобства, стеганка хорошо держала накопившуюся за ночь в теле истому, сапоги знай себе поскрипывали, поговаривали за каждым шагом. При таком ходе посошок Николаю Петровичу почти был не нужен, и он, давая отдых рукам, часто по-пастушьи закидывал его на плечи. И тут же Николаю Петровичу начинало

чудиться, что это вовсе не рябиновый посошок, а винтовка-трехлинейка образца 1891 года, № 32854, и что идет он не один, а рядом с товарищами по пехотному взводу и роте к новому месту дислокации, к новому рубежу, который известен лишь командиру взвода старшему лейтенанту Сергачеву. Точно так же светит утреннее весенное солнце, щебечут ласточки, зеленеет на обочине молодая крапива, манят к себе в овраг и низинку, где еще, случается, лежит снег, голубые колокольчики-перезвоны. Но надо идти-торопиться, потому что там, впереди, откуда доносится орудийный гул, их ждут не дождутся поредевшие и уже с трудом сдерживающие противника пехотные цепи.

– Подтянись! – время от времени покрикивает старший лейтенант.

Николай послушно отгоняет от себя неодолимое желание спуститься в эти низины и овраги, чтоб хоть пяток минут посидеть, передохнуть вблизи голубых колокольчиков, поправляет на плече понадежней винтовку и убыстряет шаг.

… На фронт Николая призвали в начале июля сорок первого года. Был он тогда совсем еще молодым, всего восемнадцатилетним парнем, в армию собирался только к осени. Но война поторопила, сдвинула все сроки. Два месяца Николай находился в учебных лагерях, осваивал курс молодого бойца, обретал какие-никакие навыки дальнего и ближнего, рукопашного боя. Собственно же на фронт попал лишь в конце сентября, когда враг уже одолел Смоленск и начал подступать к Москве. Времена были тяжелые, порой казалось, что и вообще непоправимые. Всего тогда Николаю пришлось изведать: и страха-растерянности первого боя, и какое-то неведомое до этого, безотчетное чувство ликования и одновременно тоски, когда он увидел, что именно его пулей убит высокий белобрюхий немец, еще мгновение тому назад бежавший навстречу Николаю с коротеньким автоматом-шмайсером наперевес. И особенно запали ему в память дни окружения и разрозненного выхода из него по лесным и болотным топям. От их роты осталась всего горсточка солдат и офицеров, раненных, донельзя уставших и обессиленных. Но и та вскоре рассыпалась, потому что принято было решение выходить к своим по два-три человека. И, слава Богу, вышли, всего лишь несколько раз натолкнувшись на немцев в подмосковных уже деревнях, куда волей-неволей пришлось заглядывать – оголодали ведь донельзя. В коротеньких этих стычках-перестрелках они потеряли одного человека, киргиза Маматова, который по неосторожности постучался в дом полицая и тем всполошил все село. Немцы кинулись за Маматовым в погоню и подsekли его на огородах. А остальные окруженцы, дожидавшиеся его в лесу, ушли невредимыми.

Конечно, теперь прошлого не вернешь, доподлинно не рассудишь, кто тогда был прав, а кто виноват: Маматов, добровольно вызвавшийся в разведку, или окруженцы, предусмотрительно засевшие в лесу, так что Николаю Петровичу остается лишь одно – помолиться в Печерской лавре за упокой души погибшего на поле браны рядового Маматова, хотя он и не православной был веры человек. Помолиться надо и за всех остальных, убиенных на той ненасытной войне, православных и неправославных – Бог един и моление то примет. Самому же Николаю Петровичу, помолившись, надо покаяться всей душой и сердцем, если в чем перед ними, павшими, был виновен. Бог милостив – примет и покаяние, хотя было бы лучше, чтоб он хоть на один день вернул до срока сгубленных боевых друзей-товарищей Николая Петровича.

Ранило Николая Петровича в первом после окружения бою. Видимо, от счастья, что наконец оказался среди своих, что удачно прошел проверку в особом отделе, он расслабился, а может, просто во время окружения и блуждания по лесам потерял необходимую в наступательном бою сноровку. Вот и поплатился за это головокружение! Не успели они выскочить из окопов и пробежать метров двести по раскисшему картофельному полю, как пуля и выследила его среди не сильно густой солдатской цепи. И что обидно: за мгновение до этого он хотел было укрыться за небольшим кустиком, росшим на обмежке, но побрезгал столь ненадежным укрытием, проскочил мимо, совсем не вовремя подумав, что в первом после возвращения в строй бою ему ловчить не к лицу, надо показать себя бойцом храбрым и надежным. Пуля

попала Николаю в грудь, чуть пониже ключицы (ту, что пробила ему легкое, он поймал гораздо позже, под Кенигсбергом, возле немецкого городка Тапиау) и вышла поверх лопатки. Ранение, в общем-то, не самое худшее, но Николай от испуга (чего уж тут таиться) и страшной мысли, что всё – убит, на всем бегу упал в грязное картофельное поле и потерял сознание. Когда же пришел в себя и огляделся, то увидел лишь пустынное это поле – и ни одной человеческой души вокруг: товарищи его потеснили немцев и ушли дальше, за небольшой холмик-высотку, покрытый перелеском. Николай попробовал было подняться, чтоб идти в тыл к своим, но ничего у него из этого не получилось: видимо, он слишком много потерял крови, пока лежал без сознания, и силы совсем покинули его. Ничего не вышло у Николая и из намерения ползти по картофельному топкому полю: было оно вконец размытым осенними частыми в том году дождями и каким-то провально-скользким – как он ни пытался ухватиться за какую-либо былинку или земляной бугорок, все предательски протекало между пальцев, не давая никакой опоры. После одной-двух подобных попыток Николай бросил бесполезное это занятие и с тоскою подумал, что, стало быть, такая у него судьба – помереть здесь, среди пустынного слякотного поля…

И наверное помер бы, не пошли ему Бог Ангела-Спасителя в образе совсем молоденькой конопатой девчушки-санинструктора, которая не прошла мимо совсем окоченевшего и приготавлившегося уже к смерти бойца. Она, кажется, не столько увидела, сколько догадалась, что он еще живой, упала рядом с ним, опасаясь дальнего артиллерийского огня, который запоздало открыли немцы, и, наскоро перевязывая Николая, начала вдруг не утешать его, а стыдить:

– Ты что это, солдатик, раскис!

И Николаю действительно стало стыдно, что вот он, молодой крепкий парень, так с испугу устрашился не сильно сильного ранения, растерялся и готов безропотно помереть в холодной провальной грязи. Он приободрился, преодолел свои страхи и, когда девочка приказала-повелела ему: «Вставай, вставай!» – нашел в себе силы и желание встать и идти, опираясь левой рукой на ее худенькое острое плечо, а правой – на верную свою мосиновскую винтовку. Девочка эта (звали ее, кажется, Соня) оказалась на редкость крепенькой и настырной. Поддерживая Николая, она то уговаривала его не поддаваться минутной слабости, терпеть ранение и боль, как положено их терпеть настоящему русскому солдату, то опять укоряла и стыдила его за преступное, недостойное бойца Красной Армии малодушие. Николай во всем слушался ее, как будто эта конопатая Соня была не его ровесницей, совсем еще девчушкой, а взрослой женщиной, старшей сестрой или даже матерью… С тех пор Николай и стал во всем подчиняться женщинам, остро почувствовав их материнское начало, догадавшись, что какой бы женщина ни была молодой и юной, она всегда старше и опытней мужчины, который устает от своего напускного мужества и требует ее участия и жалости. Поэтому и сейчас, в старицкой своей жизни, Николай Петрович мало когда перечит, сопротивляется Марье Николаевне, признавая ее женскую правду и справедливость. Многие деревенские мужики посмеиваются над ним за такое добровольное подчинение, но что Николаю Петровичу до их насмешек – мужики эти гораздо моложе его, они в сорок первом году не уходили по склизкому картофельному полю, опираясь на хрупкое Сонино плечо, от верной гибели и смерти. И не им судить Николая Петровича. А те, кто судить могли, имели на это полное право, все до единого лежат на деревенском их кладбище. На сегодняшний день Николай Петрович в Малых Волошках последний оставшийся в живых фронтовик. Вот окажись нынче рядом Соня, он легко бы отдался на ее суд, на ее укоры. Но где теперь эта отчаянная, двужильная Соня, жива ли, здорова ли, уцелела ли на гибельной, проклятой войне, где, в общем-то, таким девчушкам, как она, было не место, или тоже давно покоится под могильным холмиком.

Вспоминая о Соне, Николай Петрович уверенней укреплялся на тропинке, делал шире и надежней шаг, вприщур поглядывал на солнышко, которое поднималось все выше и выше, и вдруг поймал себя на мысли, что уж если и надо ему за кого помолиться в Киево-Печерской лавре, так это перво-наперво за своего Ангела-Спасителя, за бывшего санинструктора пехот-

ной их роты конопатую девчушку Соню. Одна тут только возникает сложность: за здравие ее молиться или за упокой? Может, действительно остался от этой Сони один только могильный бугорок, где-нибудь на опушке леса, давно оплывший и всеми забытый.

... До Красного Поля Николай Петрович дошел только к обеду и, надо сказать, здорово притомился. Последние километры брел уже с натугою, все основательней и основательней опираясь на посошок. Левая, простреленная нога, зажатая в туговатый все же сапог, начала заметно побаливать, и Николай Петрович вынужден был несколько раз останавливаться, присаживаться то на поваленное у обочины дерево, то на сохранившийся еще от санной зимней дороги клочок сена, чтоб дать ей какой-никакой отдых. По-настоящему же набраться новых сил он рассчитывал в автобусе, где ему, старику и ветерану, mestечко как-нибудь найдется...

Но на автобусной остановке его нежданно-негаданно подстерегало огорчение. По расчетам Николая Петровича, автобус должен был появиться с минуты на минуту. В надежде на это он даже не стал располагаться на лавочке под навесом – отдохнуть не отдохнешь, а только расслабишься, разомлеешь. Но автобуса все не было и не было. Николай Петрович начал беспокоиться, догадываясь, что тут что-то не так: на остановке, кроме него, больше нет ни единого человека, а ведь должны быть – проехать в город у многих есть необходимость.

Бесполезно так потратив минут десять-пятнадцать, Николай Петрович решил разузнать у кого-нибудь из местных жителей, что за приключение нынче с автобусом. Неподалеку от остановки в кустах краснотала он заметил стадо исхудавших за зиму коз, а при них суэтную старушку с хворостинкой в руках. Спустившись по нетвердой насыпи к зарослям, где козы уже находили себе какую-никакую травинку или наливающуюся сладким живительным соком почку, Николай Петрович затронул проворную бабку-пастушку:

– Скажи на милость, автобус до города ходит или как?

Бабка тут же забыла про коз, подступила к Николаю Петровичу поближе и пустилась в долгие объяснения:

– Какой там автобус! Бензина, говорят, нету. С Рождества ни разу не ходил, ты попусту не жди!

– А как же добираетесь, если что? – полюбопытствовал Николай Петрович.

– Да никак! – все больше волновалась бабка. – Дома сидим, телевизор смотрим. Хлеб раз в неделю подвозят, и на том спасибо. Но сегодня день не хлебный.

Чувствовалось, что бабке донельзя надоело пререкаться с непослушными козами, которые то и дело норовили разбрестись по всему полю, и она рада-радешенька была появлению Николая Петровича. В какой-нибудь иной раз он с большим даже интересом послушал бы говорливую бабку-пастушку, ее жалобы-обиды. Бабка эта, судя по возрасту, приходилась Николаю Петровичу ровесницей и, поди, доживала свой век в сиротстве и одиночестве. Мужчине не поговорить с ней, не выслушать ее жалобы-напасти было бы грешно и неуважительно. Но сегодня у Николая Петровича случай особый, он не по праздному делу собрался в путь-дорогу, так что пусть уж бабка не серчает на него за недолгую беседу. Николаю Петровичу теперь надо думать-размышлять, как же ему добираться дальше до города.

– Ну, прощавай, пастушка, – улыбнулся он, стараясь хоть так приветить беспокойную свою ровесницу.

Но бабка прощаться, кажется, еще не была намерена. Она попристальней оглядела Николая Петровича и принялась дотошно расспрашивать его, как будто разговор у них только начался:

– А ты, чай, из Малых Волошек будешь?

– Из Волошек, – не посмел так вот, на полуслове оборвать бабку и уйти своей дорогой Николай Петрович.

– То-то я гляжу – не наш! У нас таких справных стариков уже и не осталось.

Женская эта незатейливая похвала пришлась Николаю Петровичу по душе. Он действительно вдруг почувствовал себя по-молодому здоровым и крепким мужчиною, которому до старого, предельного возраста надо еще жить да жить. Усталость его и тревожное беспокойство о дальнейшем пути как-то почти мгновенно прошли, и он задержался возле старушки еще на несколько минут. Она этому обрадовалась и совсем разохотилась на беседу:

– В гости снарядился или так, по делу?

– По делу, – не стал и бабке раскрывать всю правду Николай Петрович насчет своей поездки, опять суеверно боясь, что если он кому-нибудь до срока расскажет, то ничего из его замысла не получится.

– И важное дело? – не унималась бабка.

– Важное, – вздохнул Николай Петрович, поудобней опираясь на посошок.

Бабка сразу присмирела, притихла, поверив этому невольно вырвавшемуся его вздоху, но допытываться истины не стала, а в свою очередь тоже глубоко вздохнула, выдавая печальные старушечьи мысли, которые, должно быть, одолевают ее тут в чистом поле:

– Как на войну собрался, с мешком!

– Хаживал и на войну, – еще тяжелей оперся на посошок Николай Петрович.

– Мой тоже хаживал, – минуту помолчав, ответно пригорюнилась бабка. – Да так до сих пор и бродит где-то...

Теперь промолчал, не нашелся сразу, что ответить, Николай Петрович. Ровесников его на той войне осталось видимо-невидимо, бродят в чистых полях незримыми тенями, взывают к милосердию и памяти. Домой их, к женам, детям и внукам, сколько ни рви сердце, уже не дождешься. Остается опять-таки только одно: молиться за безвременно павших, чтоб там, в полях, души их не были так бесприютны и брошены, как брошены в живой жизни солдатские вдовы.

– Ну, иди с Богом, – словно догадалась о горестных рассуждениях Николая Петровича старушка. – Иди, может, кто и подберет, свет не без добрых людей.

И так ласково, с таким участием она это сказала, что Николай Петрович на мгновение даже задохнулся от запоздалой жалости к одинокой своей ровеснице, а еще оттого, что на него вдруг ощутимо повеяло тем далеким, военным и послевоенным родством, которым люди тогда жили и выживали и которое теперь напрочь забылось и развеялось в прах...

– И ты оставайся с Богом, – только и нашел что сказать старушке Николай Петрович и стал взбираться назад на насыпь, чаще обычного подсобляя себе посошком.

... Стоять под дощатым, продуваемым ветром со всех сторон навесом Николаю Петровичу не было теперь никакого резона. Попутная машина если и появится, то, скорее всего, подберет кого-нибудь из своих, краснопольских жителей, а его, заезжего, оставит без внимания. Тут предстояло решаться на что-то иное. Выбор, правда, у Николая Петровича был невелик. Можно, конечно, было потихоньку идти и идти по шляху дальше, как шел и доныне, думая о разных жизненных делах. Глядишь, к вечеру и дотопал бы. А можно было пойти к племяннице, жившей в Красном Поле, заночевать у нее, чтоб в дальнейшую дорогу отправиться поутру, со свежими силами. Но толком пока не проглядывалось ни то, ни другое. Идти по шляху было заманчиво, но натруженная нога совсем стала побаливать, требовала отдыха и покоя, да и все истомившееся тело тоже нуждалось в отдохновении. Мешок у Николая Петровича хотя и не сильно тяжел, но уже основательно натер плечи, тянул вниз, и на подступах к Красному Полю его приходилось то и дело поправлять-поддергивать. При таком положении далеко не уйдешь, тут никакой посошок не поможет.

Племянница, конечно, примет Николая Петровича с радостью, оставит на ночь. Он в этом не сомневался: женщина она душевная, обходительная, вся в покойную мать, старшую сестру Марью Николаевны. Но тревожить ее, отвлекать от работы и домашних дел Николая Петровичу не хотелось, а еще больше не хотелось рассказывать, куда это он и зачем собрался

в столь дальнюю дорогу на старости лет. Племянница, зная, что здоровьем Николай Петрович теперь уже не сильно крепок, начнет волноваться, отговаривать его, призовет на помощь мужа, детей, и неизвестно еще, устоит ли под их напором Николай Петрович. Да племянницы сейчас, наверное, и нет дома, работает она в сельпо бухгалтером, с утра до ночи там пропадает, к ней лучше к вечеру заявляться.

В общем, дела у него получались невеселые. Поразмышляв над ними еще самую малость, Николай Петрович решил поступить пока уклончиво и неопределенно: выбраться за окопицу Красного Поля, передохнуть там где-либо на свежем воздухе, не привлекая ничьего внимания праздным своим видом, перекусить припасами Мары Николаевны, а окончательно определиться поближе к вечеру, после привала. Может, действительно надумает он пойти к племяннице, тем более что живет она поближе к окопице, хотя и немного в стороне от асфальта, на отделенном от остального села ручейком островке, который в Красном Поле все зовут Сахалином.

Николай Петрович так и поступил. Превозмогая боль в натруженной ноге, он выбрался за окопицу и удачливо обнаружил там на опушке хвойного вечнозеленого леса прошлогодний стожок соломы. Лучшего места для привала нельзя было и придумать.

Первым делом Николай Петрович решил развести костерок. Весна весною, а земля еще как следует не прогрелась, настоящее тепло только на подходе, и особенно здесь, в низинке возле хвойного леса. Без костерка можно озябнуть, подхватить простуду, а ему сейчас это ни к чему.

Не углубляясь далеко в лес, чтоб часом не заблудиться в незнакомой местности, Николай Петрович набрал охапку сухих веток – валежника, наломал их и сложил шалашиком. Потом притащил к шалашику небольшой пенек, который обнаружил в зарослях молодого сосняка. Теперь у него получилось совсем завидное становище: впереди – непролазный лес-чащоба; со спины – укрывающий от ветра стожок соломы; а по сторонам – дорога и тот ручеек, что отделяет Красное Поле от хуторка по названию Сахалин. Тут путнику самый отдых…

Костерок занялся с одной спички, с одного пучка сухой пшеничной соломы. Веточки сразу затрещали, полыхнули на Николая Петровича печным теплом и жаром, и он даже вынужден был отодвинуть чуть подальше пенек.

Давно Николай Петрович не сиживал так беззаботно возле костерка. В крестьянской жизни особо прохладиться не приходится, ежечасно в ней есть занятия, работа. Костерок если и запалишь когда, так только по делу: лодку засмолить, ненужный какой мусор-бурьян пожечь или чтоб обогреться на лугу возле стада во время дождя и непогоды.

Николай Петрович развязал мешок и разложил съестные свои яства на чистом льняном лоскутке, который заботливо положила ему в дорогу Марья Николаевна, словно предвидя, что у него непременно случится подобный привал.

Но есть Николай Петрович сразу не стал, вдруг поймав себя на давней, военной еще поры мысли, что надо бы подождать, пока рассядутся вокруг костерка товарищи по отделению, повесят над полыхающим огнем походный чайник. Ему даже послышались в лесной чащобе чьи-то шаги, позвякивание саперных лопаток, оружия, а потом и приглушенные голоса, среди которых резко выделялся командирский голос старшего лейтенанта Сергачева.

Николай Петрович совсем отрешился от нынешней жизни, стал терпеливо ждать приближения друзей, привычно прикидывая, как лучше разделить кусочек сала и буханку хлеба, чтоб хватило понемногу на всех. И фронтовые его надежные друзья действительно явились к нему и незримыми тенями сели вокруг костра. Под утомленными их взглядами Николай Петрович разделил хлеб и сало точно поровну, никому не уменьшив порцию, никого не обидев. Потом, заслуженно похваляясь, что сало домашнее, собственноручно засоленное Марьей Николаевной (а она в этом деле великая мастерица), он взял первую попавшуюся долю и начал уже было передавать ее в заскорузлую ладонь самого старшего в их отделении, почти пятиде-

сятилетнего солдата Ивана Махоткина, но костерок, в который Николай Петрович под забыл вовремя подбросить веток, вдруг опал, засеребрился пеплом – и тени тут же исчезли, удалились куда-то в поля, за холмы и ручей, все так же позванивая саперными лопатками и о чем-то тихо переговариваясь...

Николай Петрович мгновенно пробудился, пришел в себя и, понапрасну оглядываясь вокруг, лишь горько вздохнул: нет, никто из его первого пехотного отделения возле костерка сейчас объявиться не может, и тем более старший лейтенант Сергачев. Погиб он, как и киргиз Маматов, тоже на глазах у Николая Петровича. Правда, уже в наступательных боях после Сталинграда, куда военная судьба забросила Николая осенью сорок второго года.

Первое ранение Николая, вопреки надеждам его спасительницы Сони, оказалось не таким уж и безобидным. Под ключицею была задета какая-то жизненно важная жила, и скопому лечению в медсанбате она не поддавалась. Да и какое там могло быть лечение, ведь войска все еще отступали, пятисялись назад, уже вплотную упираясь в Москву. Заботами все той же Сони Николай с набрякшей, горящей огнем раной попал в санитарный эшелон и уехал через всю Россию в далекий, не затронутый войной город Уфу.

Провалился он там целых полгода, вытерпел несколько операций, потом месяца полтора был еще в запасном полку, где собирались в основном такие, как он, перекалеченные в попятных боях солдаты да зеленая, необстрелянная молодежь.

В ногу осколком Николая ранило почти в родных его местах – под Курском, когда они переправлялись через реку Сейм. Но он и там избежал гибели, сумел выплыть на берег, хотя и нахлебался воды вдоволь. А ребята, что плыли вместе с ним на одном плотике, все ушли на дно, в том числе и Иван Махоткин, до этого тоже очень осторожный и удачливый солдат.

Вообще Николай Петрович, должно быть, родился под счастливой звездой. Почти всю войну прошел в пехоте и жив остался. Случай, можно сказать, редкий, ведь жизни каждому пехотинцу было определено не больше тридцати дней – вот она какой была, та, нынче почти совсем уже забытая война. И, может быть, именно потому пал выбор седобородого старика на Николая Петровича, мол, ты один-единственный уцелел со своего взвода, а теперь вот в Малых Волошках единственный, последний участник войны, – так кому еще иному, как не тебе, идти в дальнюю дорогу, к Киево-Печерской лавре, чтобы помолиться за всех живых и павших. И не надо сетовать на тяготы и лишения этой дороги, любой из твоих погибших друзей с радостью пошел бы вместо тебя, но из темной погибельной земли им уже не подняться...

Николай Петрович подбросил в костер веток, а сам пошел с алюминиевой кружкой к ручейку, чтоб набрать там воды да согреть фронтового кипятка-чаю. Ручеек, наполненный почти до самых краев талыми стоками, змейкою бежал по начинающему зеленеть лугу, бурлил, клокотал на поворотах, как будто все время на кого-то и на что-то сердясь. Николай Петрович присел на дощатой кладочке, заботливо брошенной окрестными мужиками с крутого берега до кипящей стремнины, и зачерпнул кружкой.

Вода была по-весеннему мутной, неотстоявшейся, но Николай Петрович ничуть этому не огорчился. Вскипит, наполнится горячим паром и посветлеет, очистится. Не такую пивали: из болота, из копытного следа.

Чай у Николая Петровича получился крепкий, настоящий. Куда твоя покупная заварка! От первых его глотков голова по-молодому закружилась, поплыла, а тело, наоборот, посвежело. К такому вот ежевично-смородиновому чаю Николай Петрович был приучен с самого детства отцом, когда совместно они пастушили по лугам и лесным опушкам. Да потом и на фронте не раз приходилось испробовать, там ведь настоящая заварка не часто случалась. Почитай, только в госпитале и попьешь покупного чаю, а в окопах все больше свой, крестьянский: летом и душицею, и чабрецом, и зверобоем можно разжиться, а в остальные времена сорвешь так вот листочек-веточку малины или смородины и пьешь-наслаждаешься за милую душу.

Николай Петрович и сейчас, сидя на чурбачке, блаженствовал, торжествовал. И в торжестве своем решил, что в Киево-Печерской лавре надо будет непременно помолиться и за этот весенний нарочито сердитый ручеек, и за пойменные луга, и за холмы – чтобы все жило в природе свободно и вольно, никем не притесняемое, жило и давало жизнь человеку...

Потом Николай Петрович аккуратно и тщательно собрал походный свой мешок и решил час-другой, пока совсем не завечереет, полежать на прогретой солнцем соломе. С подветренной, порушенной, должно быть, скотниками стороны Николай Петрович пробрал себе небольшое углубление и совсем по-мальчишески, как в давние пастушки времена, забрался в него. Поначалу лежать было немного прохладно: солома пропиталась теплом только сверху, а чуть копни, она еще стылая и волгая. Николай Петрович даже подумал, что Марья Николаевна подобный его поступок не одобрила бы, сказала бы с укором: вот так ты всегда, сделаешь что-либо не сообразясь, а потом ночью маэта, приступ, зовем фельдшерицу. Но вскоре Николай Петрович согрелся, надышал в лежбище горячего воздуха, предварительно укрывшись соломою по самую грудь. Укоризненные слова Марии Николаевны быстро забылись, и Николай Петрович в тепле и отдохновении неподвижно лежал в стожке, глядя в высокое прозрачное небо. Ничто его не беспокоило, не тревожило, вот разве что изредка прямо над стожком проносились в луга, поближе к ручью стайки весенних стремительных чирков. Но они ничуть не мешали Николаю Петровичу, а наоборот, убаюкивали его и как бы охраняли с высоты неудержимого своего полета.

Сон пришел к Николаю Петровичу как-то совсем незаметно, исподволь. Еще мгновение тому назад он вроде бы вполне осознанно следил за приближением очередной утиной стайки, и вдруг глаза закрылись сами собой, и все куда-то поплыло и провалилось, увлекая за собой и птиц, и небо, и далекий, окаймленный лесной полосой горизонт...

Спал Николай Петрович крепко и по-детски блаженно. Так доводилось ему спать действительно лишь в детские годы, при отце с матерью, на жарко натопленной печке, покрытой свежевыстиранным, пахнущим речной водой и морозом рядом, когда спиши и еще тебе спать хочется. И так же по-младенчески Николаю Петровичу ничего не снилось, не грезилось, сон был чистым и глубоким: натомившись за день, тело отдыхало, набиралось новых сил. Николай Петрович чувствовал это даже сквозь дрему, радовался, что болезненные его раны сегодня молчат, словно тоже притомились болеть, и что нынче Марью Николаевну ему беспокоить не надо, пусть хоть одну ночь выспится как следует. Времени во сне Николай Петрович не осознавал, спал себе и спал, безмятежно и сладко, и вдруг уже перед самым пробуждением вспыхнул перед ним волшебный, неземной какой-то свет, горница (Николай Петрович точно видел, что это домашняя их горница с грубкой-лежанкой и образами в красном углу) озарилась серебряным сиянием, и в этом сиянии расплывчато начала проступать фигура седобородого старика с посохом в руках. Николай Петрович весь напрягся, поднял голову и вознамерился было дерзко спросить у старика, за что ему такая милость-наказание – ехать в немощной своей и некрепкой вере в Киево-Печерскую лавру – и нельзя ли подменить его кем-либо помоложе, поздоровей и, главное, в вере потверже. Но фигура старика, до конца так и не проявившись, исчезла за деревью, оставив Николая Петровича в полной растерянности и неведении. Он окликнул Марью Николаевну, чтоб та как-нибудь задержала гостя и, может быть, сама основательно расспрашивала его обо всем...

От этого громкого тревожного крика Николай Петрович и проснулся. Секунду-другую он никак не мог сообразить, где он и что с ним. Вокруг была глубокая, устоявшаяся ночь; прямо над головой Николая Петровича висела огромная, занимающая, казалось, полнеба, луна. Она сияла действительно каким-то неземным чудным светом, вызывая заблудшего среди луга и поля Николая Петровича лишь к одному-единственному – к молчанию и молитве. Он все вспомнил, все осознал и, обретая дневную бодрость, как мог, помолился все еще стоящим у него перед глазами домашним образам. Явление же старика Николай Петрович воспринял с благодарно-

стью и надеждой. Стало быть, не оставляет он его в пути-дороге, следит, и если, не дай Бог, случится с Николаем Петровичем какая-нибудь неожиданность и беда, так непременно окажет ему помощь...

Идти к племяннице теперь уже было, конечно, никак нельзя. Переполошишь среди ночи людей, сгоряча они подумают, что пришел он с какой-нибудь нехорошой вестью о Марье Николаевне, о детях или о близкой совместной родне, – в неурочное такое время попусту не ходят. Так что лучше всего отложить гостевание на обратную дорогу. Тогда можно будет налегке рассказать племяннице о ночном своем приключении возле ручья, как он, натомившись за день, уснул в стогу соломы да и проспал кряду часов восемь. Вместе они посмеются над незадачливым этим приключением, а нынче надо, скоротав в стогу остаток ночи, двигаться дальше, к городу. Поутру, может, кто-нибудь его и подберет. В Красном Поле машин побольше, чем в Малых Волошках, по асфальту они спозаранку пробегают поминутно: кто на работу в город, кто в больницу-поликлинику, а кто по всяким другим необходимым делам. Неужто не найдется ни одной сердобольной души, чтоб подобрать бредущего по дороге старику?

Николай Петрович так и сделал: поплотнее укрылся соломой и, уходя от яркого, призывающего к бодрствованию и молитве сияния луны, опять смежил веки. Но сон больше не шел; лунный свет со всех сторон цепко окутывал голову, будоражил в ней всякие горестные мысли то о брошенной на произвол судьбы Марье Николаевне, то о дальней еще дороге до Киева, которая с самого начала складывается у Николая Петровича не очень удачно, то о старике-наставителе, мелькнувшем в сонном волшебном свете, но так и не пожелавшем вступить с Николаем Петровичем в беседу.

Николай Петрович вздохнул и бросил бесполезные свои борения со сном. Отыскав лежавший рядом посошок, он высвободился из соломенного лежбища, встал на ноги и в одночасье легко решил, что дожидаться утра, валяясь в остывающем стожку, больше не надо, дополнительной бодрости это валяние не прибавит, а, наоборот, только утомит. Лучше отправиться в дорогу сейчас же, немедленно, чтоб к рассвету (а он уже не за горами, горизонт на востоке вот-вот начнет светлеть, побеждая мягким дневным светом резкое лунное сияние) постепенно втянуться в движение, одолеть первые, всегда самые тяжелые в пути километры. В夜里 идти даже легче: темнота подгоняет, торопит к наступающему дню...

В своих ожиданиях Николай Петрович действительно не обманулся. Шлось ему по ночной, никем не занятой дороге легко и вольно. Он опять несколько раз закидывал посошок на плечи, по-пастушьи придерживал его еще не утомленными руками, и посошок был именно посошком, а не винтовкой-трехлинейкой, непомерно тяжелой в дальнем ночном переходе. Впереди и рядом с собой Николаю Петровичу тоже слышались не переговоры солдат (многие из них к утру погибнут в неожиданном встречном бою), не покрикивание старшего лейтенанта Сергачева, а вполне мирное мычание коров, блеяние овец и коз, которых по давно заведенному в Малых Волошках обычанию выпускают на пастбище совместно с коровьим стадом. Иногда чуткое ухо Николая Петровича улавливало далекое ржание лошадиного табуна. Он ускорял шаг, чтоб попридержать стадо. Ведь сколько раз случалось, что в небольшом переулке, уходящем в луга, коровье стадо и лошадиный табун, который в рассветние эти, сумеречные еще часы возвращался из ночного, сталкивались – и не всегда такие столкновения заканчивались мирно. Коровы начинали бунтовать, грозно замахиваться рогами; лошади, чувствуя поначалу свою слабость, шарахались от них, поплотнее жались к плетням и заборам, но потом преодолевали испуг, поворачивались к налетчикам крупами – и тут еще неизвестно, кто бы мог выйти победителем, не вмешайся пастухи и табунщики. Им приходилось пускать в ход и посошки, и кнуты-пуги, чтоб кое-как развести неприятелей и избежать побоища. А если, не дай Бог, в стаде был племенной бык Митрошка с кольцом в ноздрях и охранной доской на лбу, а в лошадином табуне жеребец Буян, то тогда и вообще дела могли обернуться плохо, тут уж никакие посошки и пуги не помогут, того и гляди, в ярости и обиде достанется и погонщикам.

Николай Петрович и сейчас по давней, не забытой, оказывается, привычке наддал ходу, готовя на замах посошок, чтоб попридержать стадо на широкой улице, пока табун пронесется по переулку к колхозному двору. Но, похоже, он все-таки не успел, потому что вдруг из предрассветного тумана прямо на него и вправду надвинулась лошадиная костиная голова.

Николай Петрович, охранительно выставляя вперед посошок, отпрянул в сторону, попристальней взгляделся в туман и только тут различил вслед за лошадью телегу, а на ней щупленького мужика в телогрейке и зимней еще шапке. Мужик тоже различил его и, выворачивая телегу из поперечной грунтовой дороги на столбовую, асфальтную, негромко прокричал:

– Да ты не бойся, она смирина!

– А я и не боюсь, – ответил Николай Петрович, опуская посошок.

Мужик туго натянул вожжи и попридержал подводу:

– Садись, если до города. Вдвоем веселей.

– Эт точно, – без долгих уговоров согласился Николай Петрович и, наступив для верности на ступицу заднего колеса, сел на грядушку.

Мужик поослабил вожжи, легонько прихлопнул ими по крупу лошади; та фыркнула, заржала и почти с первого шага затрусила мелкой рысцой, словно радуясь, что наконец-то они выбрались с проселочной, не оправившейся еще от весенней распутицы дороги на асфальт, где катить телегу вовсе не обременительно.

Ехать в молчании Николаю Петровичу было неудобно: получалось, что он как бы и не очень рад неожиданно появившейся этой попутной подводе. Николай Петрович поосновательней уселся на соломенной подстилке и первым начал разговор:

– А я слышу, лошадь заржала. Думал, табун где.

– Какой нынче табун, – быстро откликнулся, тоже, должно быть, устав от молчания, мужик. – Перевелись давно табуны. Это у моей Марфушки стригунок тут, вот она и беспокоится, чтоб не заблудился в тумане.

Мужик опять попридержал подводу и, взглядываясь в плотный, но уже светлеющий туман, звонко и протяжно позвал:

– Кось-кось-кось!..

И тут же из тумана выбежал на асфальт совсем еще маленький жеребенок, бойко зацокал копытцами, ткнулся раз-другой в бок матери мордочкой, виновато откликаясь на ее осуждающее ржание.

– Ишь, какой шустрый, – похвалил жеребенка мужик. – Прямо куда твой рысак!

Николай Петрович тоже залюбовался стригунком, по-детски еще длинноногим, нескладным, но природно широким в кости, обещающим стать в будущем настоящим скакуном и работником.

– Боевой будет конь, – поддержал мужика в законной его гордости Николай Петрович, кое-что в лошадиных делах понимающий.

Разговор возник у них вроде бы случайный, мимоходный, но как-то сразу крепко соединивший Николая Петровича с мужиком. Можно было подумать, что они знакомы с ним давным-давно и едут так вот в одной телеге по общему делу не в первый раз. Николай Петрович единению этому обрадовался и совсем уж по-свойски, как старого знакомца, попытал мужика:

– А ты чего в такую рань?

– Так ведь дело неотложное, – охотно откликнулся на его любопытство мужик. – Жена сына родила, еду забирать.

– Ну, брат, поздравляю, – чистосердечно приветил мужика Николай Петрович, но минуту спустя маленько и укорил его: – А чего ж не машиною? Машиною поживей было бы, а то еще, не дай Бог, застудишь в дороге.

– Не-ет, – решительно отвел укоры Николая Петровича мужик. – Жена у меня машин не любит, укачивает ее в них сильно. Да и не говоришься сейчас ни с кем: у того бензина

нет, у того поломка какая-нибудь. Лучше уж подводою, по старинке. Я всех детей из роддома подводою привозил.

— А у тебя много их? — опять полюбопытствовал Николай Петрович, только теперь различив, что мужик в общем-то уже в возрасте, лет сорока пяти, ему бы внуков пора из роддома везти.

— Много, — не без гордости, но как бы в чем-то и винясь, ответил мужик. — Шесть девок и вот наконец — сын!

— Ого! — от души восхитился Николай Петрович. — По нынешним временам столько детей редко у кого бывает.

— Так вышло, — снова словно застеснялся чего мужик. — Родится дочь, я жене вроде бы как с обидою и говорю: это еще не мои дети, мои еще будут. Она и старается. Но все дочь да дочь выходит. И вот теперь парень.

— Дочери тоже хорошо, — вспоминая свою Нину, попытался утешить мужика Николай Петрович. — По себе знаю.

— Да я не в претензии, — легко разгадал его тайные намерения тот. — Девки у меня все ладные. Две уже замужем, сами детей нянят. Но сын есть сын. Продолжатель фамилии, рода.

— Это правда, — вспомнил и Володьку Николай Петрович.

Он вознамерился было рассказать мужику о своих детях и о внуках поподробнее, чтоб разговор у них получился взаимно интересный, но мужик, закуривая папироску, вдруг как-то подозрительно примолк, а потом и вовсе засокрушился:

— Оно бы все ничего, да вот с домом беда.

— А что такое? — приготовился с участием выслушать его беду Николай Петрович, отодвигая свой разговор на потом.

— Дак что! — поглубже затянулся папирской мужик. — С первой еще дочери пошла у меня затея —, садить в честь новорожденной возле дома березу. С годами они выросли и вот нынче разламывают, рвут дом корнями на части. Дома-то у нас в Каменке, небось слыхал, из камня-песковика. По степи в каменоломнях его добываем да по речным берегам.

— Слыхал, а как же, — поддержал разговор Николай Петрович. — У нас тоже многие из ваших камней дома кладут. У меня, правда, бревенчатый.

— Вот и мне бы бревенчатый возвести, — засокрушился еще сильнее мужик. — Бревенчатый не развалился бы. А теперь ума не приложу, что делать. И берез жалко, и дом спасать надо...

— Беда прямо, — принял маэту мужика близко к сердцу Николай Петрович. — Может, в «лисицы» дом взять, в стяжки?

— Пробовал уже, — быстро откликнулся мужик на его подсказку. — Не держат. Против природы никакое железо не устоит.

Николай Петрович замолчал, не зная, что бы еще посоветовать мужику, допустившему такую непредвиденную оплошность, чем подсобить его горю, и от этого своего бессилия чувствовал перед ним немалую вину. Но мужик, кажется, и не ждал от него особого совета, перепробовав, конечно, с домом все крестьянские хитрости. Он достал новую папироску, прикурил ее от прежней и вдруг объявил Николаю Петровичу свое, может быть, окончательно созревшее именно в эти минуты за разговором решение:

— Соберу на родины всех девок, зятьев, и будем определяться. Пилить надо, чего уж там. В чистом поле жить не будешь, а строиться заново не за что.

Николай Петрович почувствовал себя еще более виноватым перед мужиком: он человек старый, много чего в своей жизни видевший, мог бы и на этот случай найти дельную подсказку, обнадежить мужика. Но ничего путного в голову не приходило. С таким удивительным происшествием он встречался впервые: и дом мужику сохранить надо, и березы пилить опасно. Ведь не абы как они посажены, а каждая к великой радости, к дню рождения дочери. Спилишь ее, так еще неизвестно, что с этой дочерью потом станет, — тут уж приметы есть самые нехорошие.

— А в честь сына садить будешь? — стараясь как можно скорее отдалиться от этих невеселых мыслей, спросил мужика Николай Петрович.

— Так посадил уже, — обрадовал его своей стойкостью тот. — Чуть подальше, правда, за оградой, но посадил. Возле дома ей уже и места нет.

Минут пять-десять они ехали в сокровенном каком-то молчании, словно испытывая в чем и проверяя друг друга. Мужик негромко похлопывал вожжами, курил, а Николай Петрович с пристрастием наблюдал за стригунком, как тот резвится на непривычно твердом асфальте, то забегая далеко вперед, то, наоборот, отставая от подводы и опасно теряясь где-то в тумане. Конь из него действительно получится боевой, могучий, тут уж мужику повезло. Такого коня хоть под седло, в строй, хоть в борозду, всюду он себя покажет. Новорожденный мальчионка, сын мужика, когда подрастет, будет в неразлучной дружбе с этим своим длинноногим ровесником: и верхом на нем выучится ездить, и за плугом в борозде ходить. Дети лошадей любят.

Николай Петрович так увлекся своими мыслями-рассуждениями, что о сидящем рядом мужике почти напрочь забыл, наверное, немало обижая его этим своим забвением. И мужик вдруг напомнил о себе, но как чудно и непривычно.

— Ты песен не поешь? — отбрасывая в сторону папироску, с надеждой в голосе спросил он.

— Нет, не пою, — не оправдывая надежд мужика, вздрогнул даже от неожиданности Николай Петрович.

— А я любитель, — чуть расстроился ответом Николая Петровича тот. — Правда, по большей части кручинные.

— Отчего ж так? — боясь вспугнуть песенное настроение мужика, полюбопытствовал Николай Петрович.

— А Бог его знает, — пожал плечами тот. — Душе не прикажешь.

Он совсем вольно поопустил вожжи, качнулся из стороны в сторону и, тоже напрочь забывая о Николае Петровиче, казалось, не столько запел, сколько выдохнул из себя первые слова действительно печальной, кручинной песни:

Ах, не одна-то, не одна,

Эх! во поле дороженька, эх, одна пролегала!

Голос его был удивительно высоким и сильным. Глядя на этого щупленького, неприметного на вид мужичка, нельзя даже было и подумать, что в нем мог таиться голос такой необыкновенной красоты и силы. Он сразу заполонил вокруг все пространство, отодвинул далеко в поля, за дорогу и холмы туман, вобрал в себя все окрестные, только что начавшие рождаться вместе с рождением нового дня звуки: и щебет-воркование птиц, и журчание весеннего ручья, и порывы влажного верхового ветра. Все замерло перед этим голосом и перед этой песней, словно стараясь постичь заведомо непостижимую их тайну.

Замер и Николай Петрович, крепко обхватив ладонями грядушку. Глаз на мужика он не поднимал, как будто боялся, что никакой плоти рядом с собой не увидит, а только один голос, который есть и плоть, и душа, и сердце человеческое...

Так они и ехали до самого города. Мужик все пел и пел, переменяя песню за песней, которых знал несметное количество, а Николай Петрович неотрывно слушал их, все больше дивясь щупленькому кручинному мужику. Телега поскрипывала, покачивалась, но этот скрип ничуть не мешал песне, а, наоборот, как-то невидимо вплетался в нее, отчего песня получалась еще кручинней и горше. Слушая ее, Николай Петрович, казалось бы, опять должен был думать о чем-нибудь невеселом, печальном, о войне, о разлуке-расставании, а он, напротив, вспомнил, может быть, самое радостное в своей жизни событие. Победу, а затем встречу и знакомство с Марьей Николаевной, тогда, понятно, еще просто Машей.

Из госпиталя, где Николай излечивался от четвертого по счету и самого тяжелого своего ранения — в грудь, его отпустили подчистую домой на Покров, когда уже ощутимо слышалось дыхание первой послевоенной зимы. В худой шинельке, с тощим вешмешком за плечами и

свидетельством инвалида Отечественной войны второй группы он кое-как добрался до районного своего города. И тут встал перед ним самый трудный за все время возвратной с войны дороги вопрос – как одолеть последние двадцать пять километров. Пройти их пешком он никак не мог, сил дока на такое путешествие у него не хватало, в поезде, лежа на койке, Николай и то все время задыхался, слабел, покрываясь болезненным жарким потом, – а тут целых двадцать пять верст по проселочной, размытой осенними дождями дороге. Он опечалился, затосковал, понапрасну ища вокруг вокзала какой-либо конной оказии, хотя бы до Красного Поля. Оно и действительно, кто при таком бездорожье и непогоде поедет в город: и телегу вконец разломаешь, и коня угрибишь. Совсем отчаявшись, Николай так, на всякий случай решил заглянуть на почту, что располагалась по ту сторону железнодорожной линии. И тут ему повезло. Еще при подходе к почтовому зданию он увидел подводу и сразу определил, что она из Малых Волошек. Да и как можно было ошибиться, не признать старого конька переполесой какой-то коровьей масти по кличке Мухомор, на котором еще и до войны возили в Малые Волошки два раза в неделю письма и газеты. Николай надеялся, что сейчас он обнаружит где-нибудь рядом и возницу, бессменную их отважную почтарку бабку Надю, наезжавшую в город за почтой в любую погоду. Но вместо нее из здания, кутаясь в брезентовый, явно не по росту плащ, выбежала вдруг худенькая черноволосая девчушка лет семнадцати-восемнадцати. Николай ее не признал и поначалу даже было засомневался, а действительно ли из Малых Волошек подвода. Переполесый такой конек Мухомор мог быть и в любой иной деревне, тем более после многочисленных конных мобилизаций на фронт, когда по колхозам оставались только какие-либо увечные, непригодные для военной тягловой службы лошади. Но на всякий случай он все же подошел к девчушке и попытал удачи:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.